

Эрнст Теодор Амадей
ГОФМАН

*Житейские
воззрения
кота Мурра*



Санкт-Петербург

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Едва ли есть на свете книга, которая нуждается в предисловии больше, чем эта, ибо следует все-таки объяснить, почему она выходит в свет в таком запутанном и странном виде.

Посему издатель умоляет благосклонного читателя во что бы то ни стало прочесть это предисловие.

У вышесказанного издателя есть один приятель, которого можно назвать в полном смысле этого слова закадычным, и каждый из нас знает своего друга буквально как себя самого. И вот этот друг сказал однажды издателю примерно следующее:

«Так как ты, дорогой мой, уже напечатал несколько книг и привык иметь дело с книгопродавцами, то тебе нетрудно будет отыскать среди этих милых господ такого, который по твоей просьбе возьмет на себя труд напечатать нечто, сочиненное одним молодым автором, обладателем блистательного таланта и прочих великолепных качеств. Удостой его своим покровительством, так как он, право, заслуживает этого».

Издатель пообещал сделать все, что только в его силах, для коллеги-литератора. Впрочем, он был весьма и весьма удивлен, когда его друг признался ему, что рукопись сия вышла из-под пера некоего кота, отзывающегося на кличку Мурр, и что в манускрипте этом изложены житейские воззрения этого кота; однако ничего не поделаешь, слово было дано, и так как вводные страницы показались ему написанными вполне сносно, то он тотчас побежал с манускриптом в кармане к господину Дюммлеру на Унтер ден Линден и предложил ему издать кошачье произведение.

Господин Дюммлер высказался в том смысле, что, по правде говоря, до сего времени среди его авторов не было котов и что ему вообще неизвестно, чтобы кто-нибудь из его дражайших коллег когда-либо имел дело с авторами, принадлежащими к этой породе, но, впрочем, — отчего бы и не попробовать.

Книга пошла в печать, и вскоре к издателю пришли на просмотр первые оттиски набранных страниц. Представьте себе, однако, до чего испуган был издатель, когда убедился, что история Мурра прерывается во многих местах и перемежается

с какими-то иными эпизодами, с фрагментами совершенно иной книги, содержащей повествование о жизни капельмейстера Иоганнеса Крейсера.

После тщательного расследования обнаружилось следующее: когда кот Мурр принялся излагать свои житейские воззрения, то он без долгих разговоров растерзал уже напечатанную книгу, которую нашел у своего хозяина, и попросту употребил часть ее листов вместо закладок, а другую часть — в качестве своего рода промокательной бумаги. Эти листы, однако, по недосмотру остались в рукописи и пошли в печать как составляющие с ней единое целое!

Издатель смиренно и с грустью признается, что пестрая смесь чужеродных материалов, к великому сожалению, вызвана к жизни его собственным легкомыслием, поскольку ему следовало внимательно просмотреть рукопись кота, прежде чем отправлять ее в печать. Но все-таки у него остается некоторое утешение.

Во-первых, благосклонный читатель легко найдет выход из создавшегося положения, если примет во внимание замечания в скобках: *Мак. л.* («макулатурный лист») и *Мурр пр.* («Мурр продолжает») — да к тому же еще вспомнит, что, по всей вероятности, книга, растерзанная котом, так и не поступила в продажу, — во всяком случае, никто решительно ничего не знает о ее судьбе. По крайней мере, друзьям капельмейстера будет весьма приятно, хотя бы даже вследствие литературного вандализма кота, получить некоторые сведения о престранных жизненных обстоятельствах человека в своем роде весьма и весьма достопримечательного.

Издатель надеется, что его милостиво простят.

Наконец, разве не правда, что порой авторы обязаны экстравагантностью своего стиля благосклонным наборщикам, которые спешествуют вдохновенному приливу идей своими так называемыми опечатками? Так, например, издатель во второй части своих «Ночных рассказов» на с. 326 говорит о пространных *боскетах*, расположенных в некоем саду. Это показалось наборщику недостаточно гениальным, и он превратил поэтому слово «боскеты» в «каскетки».

А вот, например, в рассказе «Мадемуазель де Скюдери»¹ хитроумный наборщик заставил вышеупомянутую мадемуазель,

¹ Карманный альманах для приятного времяпрепровождения в светском обществе. Изд. Гледича, 1820.

вместо того чтобы явиться в черном — тяжелого шелка — «платье», — явиться в черном — тяжелого шелка — «салате» и т. д.

Впрочем, каждому свое! Ни кот Мурр, ни оставшийся неизвестным биограф капельмейстера Крейсlera отнюдь не нуждаются в том, чтобы рядиться в чужие перья, и издатель умоляет поэтому благосклонного читателя — более того, настоятельно просит его, прежде чем прочесть эту книжицу, внести в текст некоторые исправления, дабы ему не пришлось думать об обоих авторах лучше или хуже, чем они того заслуживают.

Правда, здесь отмечены лишь главные опечатки; что же касается остальных, то тут мы уповаем на снисходительность нашего благосклонного читателя.

<i>страница</i>	<i>строка</i>	<i>напечатано</i>	<i>следует читать</i>
21	17	веселый	невесомый
23	4	задушевный	задушенный
23	21	имя	моими
29	6	пудинг	пудель
80	20	мышь	лишь
80	24	мой	твой
81	6	новинок	невинных
81	8	методичный	медоточивый
92	5	ватный	важный
107	13	эвфония	какофония
132	3	ухо	эхо
160	13	ощениться	очевидца
160	19	пеликаном	деликатно
166	6	проспектом	прозектор

В заключение издатель считает своим долгом заверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел его чрезвычайно приятным молодым человеком, пресимпатичным и благовоспитанным. Портрет его, открывающий эту книгу, отличается необыкновенным сходством.

Берлин, ноябрь 1819

Э. Т. А. Гофман

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Робко — с трепетом в груди — передаю я свету кое-какие страницы моей жизни, страницы моих страданий, моих упований, моей тоски, которые в сладостные праздные часы, в часы поэтических вдохновений вылились из недр души моей.

Устою ли я, смогу ли устоять перед строгим судом критики? Но ведь именно для вас, о чувствительные души, для ваших по-детски чистых сердец, для вас, родственных мне прямодушных и верных натур, писал я эти строки, и одна-единственная чудная слеза, пролившаяся из ваших очей, утешит меня, исцелит мои раны, нанесенные мне холодными порицаниями, ледяными укорами бесчувственных рецензентов!

Берлин, май (18—)

Мурр (Etudiant en belles lettres)¹

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА, ДЛЯ ПЕЧАТИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ

С уверенностью и спокойствием, неотъемлемо присущим истинному гению, передаю я свету мою биографию, дабы свет научился тому, как можно стать воистину великим котом, дабы свет признал, до чего я великолепен, и стал бы меня любить, ценить, почитать и даже благоговеть передо мной.

Ежели бы отыскался кто-нибудь, кто решился бы хоть немного усомниться в неоспоримых достоинствах этой из ряда вон выходящей книги, то пусть он не упускает из виду, что имеет дело с котом, обладающим острым рассудком, острым разумом и не менее острыми когтями.

Берлин, май (18—)

Мурр (Homme de lettres très renommé)²

ПРИМЕЧАНИЕ

Вот так история! — Даже предисловие автора, которое отнюдь не предназначалось для печати, взяли и тиснули, как ни в чем не бывало!

Увы, мне больше ничего не остается, кроме того чтобы просить благосклонного читателя извинить коту-сочинителю уж слишком заносчивый тон этого предисловия и по возможности принять во внимание, что ежели вникнуть в самоуничижительные выражения, коими изобилуют предисловия иных стеснительных авторов, тщательно скрывающих свое сомнение, то они не столь уж разительно будут отличаться от предисловия нашего зазнавшегося котика.

Издатель

¹ Начинающий литератор (*фр.*).

² Весьма прославленный сочинитель (*фр.*).

ТОМ ПЕРВЫЙ



Раздел первый

ОЩУЩЕНИЯ БЫТИЯ. МЕСЯЦЫ МЛАДОСТИ

Есть все-таки в нашей жизни нечто необычайно красивое, великолепное и возвышенное! «О ты, сладчайший навык бытия!» — восклицает пресловутый героический нидерландец в общеизвестной трагедии. Вот так и я, однако не в мгновение горестного расставания с юдолью сей, как вышеупомянутый герой, а, совершенно напротив, в тот самый миг, когда меня всего, с головы до пят, пронизывает отраднейшая мысль, что наконец-то этот сладчайший навык бытия вполне пришелся мне по душе, я внезапно ощутил, что бытие, что земное существование вполне пришлось мне впору и, стало быть, мне решительно неохота когда бы то ни было расставаться с дольным миром!

Итак, я полагаю, что та духовная сила, та неведомая мощь, или как там еще именуют распоряжающуюся нашими судьбами первопричину, — одним словом, та неведомая мощь, которая, в известном роде, навязала мне, без моего на то согласия, вышеупомянутый навык, едва ли имела при этом намерения более мрачные, чем тот премилый и преблагодушный добрячок, к коему я пошел в услужение и который никогда не вырывает у меня из-под носа — подсунутую им же — миску с жареной рыбой, в тот самый миг, когда я, вполне уже войдя во вкус, с отменным удовольствием уписываю новую рыбу.

О природа, священная и величественная природа! С какою силою наполняют мою взволнованную грудь все твоё

очарование и весь твой трепет жизни, — сколь таинственно овеивает меня шелестящее твое дыхание! Ночь несколько прохладна, и мне хотелось бы... но каждый — читающий ли или же вовсе не читающий сии строки, увы, не сможет постичь все могущество высочайшего моего воодушевления, ибо ему, читателю, или же любому другому человеку не может быть известно, какой высочайшей точки я достиг, в какие заоблачные выси я воспарил, взлетел и взмыл! — Собственно говоря, правильнее было сказать — вполз и влез, — но ведь ни один поэт на свете не считает возможным говорить о ногах своих, даже ежели он четвероног, как я, грешный; стихотворцы предпочитают упоминать о своих крыльях, даже ежели оные крылья отнюдь не дарованы им природой, а являют собой лишь хитроумное приспособление, сооруженное толковым и расторопным механиком. Надо мною небосвод: бездонный звездный купол, весь в завроженно мерцающих лучах полной луны; в серебристо-огненном сиянии высятся вокруг меня крутые крыши и башни. Все больше и больше стихает уличный гомон, все тише и тише становится ночь, — надо мною проплывают облака, — одинокая голубка, воркуя и как бы испуская страстные стоны, порхает вокруг колокольни! — Ах! — что, если бы эта прелестная малютка решила приблизиться ко мне? — Во мне явно растет и ширится некое, неведомое мне прежде, волшебное чувство, некое восхитительное сочетание мечты и аппетита пронизывает все мое существо с непреодолимую силою! О, ежели бы невинная горлица сия приблизилась ко мне — я прижал бы ее крепко-накрепко к моему уязвленному любовью сердцу и никогда, никогда не отпускал бы ее больше! Ах, изменница, она возвращается в голубятню и покидает меня, сидящего на крыше, в полной безнадежности! Увы, до чего же редка в наши скудные, закоснелые, безлюбивные времена истинная симпатия душ!

Так неужели же прямохождение на двух ногах является чем-то настолько величественным, что некий род, именуемый себя человеческим, вправе присвоить себе господство над нами всеми, разгуливающими на четвереньках, но зато с куда более развитым чувством равновесия? Впрочем, я знаю, они, человеки, воображают, что сии особые права дает им нечто великое, якобы угнездившееся у них в голо-

ве, а именно то, что они называют *разумом*. Я не в силах составить себе точное представление о том, что они, собственно, под этим подразумевают, однако же вполне уверен в том, что, как я могу заключить из кое-каких замечаний моего хозяина и покровителя, разум — это всего лишь способность действовать обдуманно и сознательно, не вытворяя глупостей, — ну да что там — ведь по части благоразумия и осмотрительности я ни одному человеку решительно не уступлю! — Вообще, я полагаю, что сознание есть дело привычки; все мы вступаем в жизнь и скитаемся затем по оной — сами не ведая как. Во всяком случае, именно так обстояло дело со мной, и, как я полагаю, на всей земле не сыщется ни одного человека, который бы по собственному опыту знал — *как* и *где* он рожден; все, что он знает на этот счет, основано на традиции, которая к тому же еще сплошь и рядом бывает весьма и весьма недостоверной. Города спорят друг с другом о том, в каком именно из них явился на свет тот или иной великий муж, — итак, вполне понятно, что поскольку мне самому абсолютно ничего определенного не известно по этой части, то так навсегда и останется неустановленным — увидел ли я свет в погребке, на чердаке или же в сарае; или, вернее, не увидел света, а попросту меня впервые заприметила моя драгоценнейшая матушка. Ибо, как это свойственно всем моим сородичам, глаза мои в миг рождения были затянuty пленкой. Во мне живет некое смутное и темное воспоминание о каких-то звуках, напоминающих, как я теперь понимаю, рычание и фырканье, — эти-то звуки я теперь и воспроизвожу — почти что против собственной воли, — когда меня разбирает злость. Более четким и, пожалуй, почти уже сознательным мне представляется следующее воспоминание: я нахожусь в каком-то необыкновенно тесном помещении (кладовке, что ли?), стенки коего обиты чем-то мягким; я с трудом ловлю воздух, еле дышу и, опечаленный и утраченный, поднимаю жалобный визг. Засим я ощущаю, как нечто проникает в упомянутое тесное помещение и весьма грубо хватает меня за животик, что и дает мне повод впервые осознать и применить на деле ту чудесную силу, которая дарована мне самой природою. Из моих пушистых передних лапок я без малейшего промедления выпустил острые и по-

воротливые коготки и впился ими в ту самую штуку, которая так грубо схватила меня и которая, как я впоследствии узнал, не могла быть ничем иным, как человеческой рукою. Тем не менее эта рука извлекла меня-таки из моего тесного закута и швырнула на пол, и сразу же после этого я ощутил два полновесных удара по обеим сторонам моей физиономии, по тем самым местам, где теперь, да будет мне позволено упомянуть об этом, выросли весьма и весьма благопристойные бакенбарды! Рука, которая, как я теперь могу судить, несколько пострадала из-за вышеупомянутой мышечной игры моих когтистых лапок, отвесила мне несколько оплеух — вот так я и узнал впервые о моральной причине и о следствии оной моральной причины, и, конечно же, все тот же нравственный инстинкт заставил меня убрать коготки с тем же проворством, с которым я было выпустил их. В дальнейшем эта моя удивительная способность молниеносно вытягивать коготки была совершенно справедливо признана актом величайшей *bonhomie*¹ и воистину несравненной учтивости, а самого меня ласково прозвали «бархатной лапочкой»!

Как уже сказано, рука швырнула меня наземь. Вскоре, однако, после этого она вновь схватила меня за голову и так сильно придавила ее, что я угодил мордочкой в жидкость, которую я, сам уж не знаю, как я до этого дошел, — по-видимому, тут действовал какой-то физиологический инстинкт, — начал лакать, что вызвало во мне удивительное внутреннее довольство. Это было, как я теперь знаю, сладкое молоко — его-то я и пил; я был голоден и насыщался по мере того, как пил его. Вот так и наступила, после познания первичных начал, блаженная пора моего физического воспитания.

Снова, но уже куда ласковей, чем прежде, меня схватили чьи-то руки и уложили на тепленькую подстилку. На душе у меня становилось все лучше и яснее, и я стал выражать испытываемое мною внутреннее удовлетворение, издавая странные звуки, свойственные одним только моим сородичам, а именно те звуки, которые люди довольно удачно именуют «мурлыканьем». Вот так я и шествовал

¹ Благодушности (*фр.*).

исполинскими шагами вперед в своем светском воспитании и образовании. Какое необычайное преимущество, какой бесценный дар небес — умение выражать свое внутреннее физическое удовлетворение посредством звука и жеста! — Сперва я мурлыкал, затем во мне проснулся совершенно неподражаемый талант — я стал распускать свой хвост преизящнейшим образом, а затем — воистину чудесный дар: одним-единственным словом «мяу» выражать радость и скорбь, блаженство и ужас, страх и отчаяние — короче говоря, все жизненные впечатления и страсти со всеми многообразными оттенками. Что стоит человеческая речь в сравнении с этим простейшим из всех простых средств передачи своих мыслей! — Но двинемся дальше в изложении достопамятной и высокопоучительной истории моей богатой событиями юности.

Я пробудился от глубокого сна, ослепительное сияние лучилось, мерцало и переливалось передо мной; я был испуган донельзя; пелена спала с моих глаз — я прозрел!

Однако прежде, чем я смог привыкнуть к свету, прежде, чем я смог привыкнуть к пестрейшему разнообразию, которое он, этот свет, являл глазам моим, я был вынужден зачихать, издать многократное и отчаянное чихание; впрочем, вскоре после этого зрение мое совершеннейшим образом наладилось, как будто я уже с незапамятных пор взирал на белый свет.

О Зрение! Это волшебное, это великолепное обыкновение — обыкновение, без коего было бы чрезвычайно трудно вообще существовать в этом мире! — Сколь счастливы те высокоодаренные личности, коим столь же легко, как мне, удалось привыкнуть к зрению!

Не стану отрицать, что все же я необычайно испугался и опять жалобно возопил, как прежде, в памятном тесном помещении. Тотчас же явился маленький худощавый старичок, которого я никогда не забуду, ибо мне, невзирая на то что круг моих знакомых весьма широк, никогда больше не приходилось видеть никого, кого я мог бы назвать равным ему или хотя бы несколько схожим с ним. Среди моих сородичей нередко случается, что тот или иной из них носит шкурку в белых и черных пятнах, но, пожалуй, нелегко отыскать человека, у которого были бы белоснежные воло-

сы, брови же — цвета воронова крыла, а ведь именно таков был мой воспитатель! У себя дома он расхаживал в куцем ярко-желтом шлафроке — шлафрок этот, помнится, очень испугал меня, и я, хотя и был тогда еще чрезвычайно беспомощен, предпринял попытку к бегству: то есть сполз с белой подушки вниз и вместе с тем немного вбок. Старичок склонился ко мне, движения и жесты его показались мне благодушными; он сумел вселить в мое сердце доверие. Засим он схватил меня, и я благоразумно воздержался от размахивания лапками и выпускания коготков, ибо идеи царапанья и последующего получения оплеух сами собою связались в некое единое целое, — да и в самом деле — почтенный человек этот явно решил ласково обойтись со мной: он посадил меня на пол перед самой миской сладкого молока, каковое я жадно вылакал. Это, как мне показалось, очень и очень обрадовало его. Старичок долго и пространно разговаривал со мной, но, увы, я ничего не понял из его пространных разглагольствований, ибо мне тогда — мне — юному, младенчески неопытному котенку, — еще не было свойственно понимание человеческого языка. Вообще, я лишь немного могу сказать о моем хозяине и покровителе. Однако я вполне уверен в том, что он непременно должен был быть во многих вещах крайне искусен и ловок — и вообще многоопытен по части всяческих наук и художеств, ибо все, которые его навещали (а я замечал среди них людей, у коих именно там, где природа украсила мою шкурку желтоватым пятном, то есть на самой груди, мерцали орденская звезда или крест), относились к нему с исключительным почтением, а порою даже с известного рода робким и благоговейным уважением (именно так, как я впоследствии относился к пуделю Скарамушу), и называли его не иначе как «мой достопочтеннейший», «мой дражайший», «драгоценнейший мой маэстро Абрагам!» — И только двое называли его просто «милейший!» Это были — долговязый сухопарый господин в штанах цвета зеленого попугайчика и белых шелковых чулках, а также маленькая толстуха — черноволосая, со множеством колец и перстней на всех пальцах. Господин сей, впрочем, был князем, а толстуха — всего лишь еврейской дамою.

Невзирая на то что маэстро Абрагама посещали столь знатные персоны, он обитал в крохотной каморке, расположенной где-то на самом верху здания, так что я совершал первые свои променады с величайшим удобством: из окошка — прямо на крышу, а оттуда — на чердак!

О да! Конечно же — не иначе как я был рожден на чердаке! — Что там погреб, что там дровяной сарай — я решительно высказываюсь в пользу чердака! — Климат, отечество, нравы, обычаи — сколь неизгладимо их влияние; да, не они ли оказывают решающее воздействие на внутреннее и внешнее формирование истинного космополита, подлинного гражданина мира! Откуда исходит ко мне это поразительное чувство высокого, это непреодолимое стремление к возвышенному! Откуда эта достойная восхищения, поразительная, редкостная ловкость в лазании, это завидное искусство, проявляемое мною в самых рискованных, в самых отважных и самых гениальных прыжках? — Ах! Сладостное томление переполняет грудь мою! Тоска по отеческому чердаку, чувство неизъяснимо-почвенное, мощно вздымается во мне! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная отчизна моя, — тебе эти душераздирающие, страстные мяуканья! В честь твою совершаю я эти прыжки, эти скачки и пируэты, исполненные добродетели и патриотического духа! Ты, о чердак, поставляешь мне от щедрот своих то мышонка, то кусочек колбасы или ломтик сала, — ты порой позволяешь мне извлечь их из чрева дымохода, — о да, порою даже ты позволяешь мне изловить, скажем, зазевавшегося воробушка, а порою даже подкараулить и сцапать жирного голубка. «О, сколь безмерна нежность к тебе, родимый край!»

Но мне еще следует сказать кое-что относительно моего...

(Мак. л.) ...разве вы не вспоминаете, всемиловейший повелитель мой, о сильнейшей буре, сорвавшей шляпу с головы адвоката, проходившего ночью по Пон-Неф, и сбросившей оную шляпу прямо в непроглядно-мутные воды Сены? — Нечто подобное описал Рабле, но, собственно говоря, отнюдь не буря сорвала с головы адвоката ту самую шляпу, которую он, предав свой плащ на волю ветров,

крепчайшим образом прижал к макушке своей, а некий гренадер с отчаянным возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!» — пробегая мимо, молниеносно сорвал великолепную касторовую шляпу с адвокатского парика, невзирая на то что адвокат всячески придерживал ее, и вовсе не эта касторовая шляпа была сброшена в мутные воды Сены, а подлейшую шляпчонку бессовестного служивого буйный вихрь повлек в лоно влажной гибели! Итак, вы знаете теперь, всемиловейший мой повелитель, что в то самое мгновение, когда господин адвокат, совершенно сбитый с толку, остановился как вкопанный, другой прощельга-солдат с тем же самым возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!» — пробегая мимо, ухватил плащ адвоката за воротник и сорвал его с плеч и что сразу же после этого третий солдат с тем же возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!» — на бегу вырвал у него из рук бамбуковую трость с золотым набалдашником. Адвокат завопил благим матом, швырнул вслед этому третьему жулику свой парик и поплелся затем, с непокрытым теменем, без плаща и без трости, домой, дабы там, дома, составить удивительнейшее из всех завещаний и узнать о поразительнейшем из всех приключений. Все это вам, конечно, известно, мой всемиловейший повелитель!

— Мне решительно ничего не известно, — возразил князь, когда я высказал ему все это, — мне решительно ничего не известно, и я вообще не в силах понять, как это вы, маэстро Абрагам, способны наболтать такую кучу вздора. Впрочем, я знаю Пон-Неф, он находится в Париже, и хотя я никогда не переходил его пешком, я, однако же, частенько переезжал его в экипаже, как это и приличествует моему сану. Адвоката Рабле я никогда в жизни не видал, а что до солдатских проделок, то они никогда меня не заботили. Когда я, будучи помоложе, еще командовал своей армией, я велел раз в неделю угощать фухтелями всех юнкеров без изъятия за те глупости, которые они уже совершили или еще только намерены были совершить в будущем; что же касается до вояк из простонародья, то наказывать их я предоставлял поручикам, каковые, беря пример с меня, также проделывали это еженедельно, а именно в субботу, — сло-

вом, в воскресный день во всей моей армии не было уже ни одного юнкера и ни одного рядового, который бы уже не получил надлежащую взбучку, вследствие чего мои войска, благодаря вколоченной в них высокой нравственности, вообще уже настолько привыкли к тому, чтобы быть битыми, еще ни разу не видав в глаза неприятеля, что, оказавшись с оным лицом к лицу, они вынуждены бывали, в свою очередь, бить сего супостата. Это для вас должно быть совершенно очевидно, маэстро Абрагам, ну а теперь скажите мне, ради всего святого, к чему это вы наплели мне с три короба про вашу бурю, про этого вашего адвоката Рабле, злодейски ограбленного на Пон-Неф, и почему это вы не приносите мне извинений за то, что празднество не удалось и завершилось всеобщим смятением, и за то, что в самый разгар фейерверка некая ракета угодила прямо в мой тупей, и за то, что августейший мой сын угодил прямо в бассейн, где и был обрызган с головы до пят изменниками-дельфинами, а принцесса — без вуали и задрав юбки — побежала через весь парк, как Аталанта, — и за то... — но кто способен перечесать все несчастья и злополучия этой роковой ночи! — Ну, что же вы теперь скажете, маэстро Абрагам?

— Всемиловитевнейший мой повелитель, — возразил я, отвесив низжайший, смиренный поклон. — Кто же был повинен во всех несчастьях, если не буря — ужасающая буря, которая поднялась именно тогда, когда все уже было как нельзя лучше. Увы, разве я сам при этом не пал жертвою самого отчаянного невезения, — разве я, подобно тому самому адвокату, которого я всеподданнейше умоляю не путать со знаменитым французским сочинителем Рабле, не потерял шляпу, фрак и плащ? Разве я не...

— Послушай, — прервал здесь мастера Абрагама Иоганнес Крейслер, — послушай, друг, еще и нынче, невзирая на то что прошло уже довольно много времени с тех пор, идут разговоры о дне рождения княгини, то есть о том празднике, распорядителем которого ты был, как о чем-то в высшей степени таинственном и мрачном, и, конечно же, ты, как это тебе вообще свойственно, натворил тогда немало скандалезного и даже авантюрного! Народ весь и без того считал тебя своего рода чародеем, а из-за достопамятного

празднества вера эта, по-видимому, еще более усилилась и окрепла. Ты ведь знаешь, я тогда как раз был в отлучке.

— Вот именно поэтому, — перебил своего друга маэстро Абрагам, — вот именно потому, что тебя тогда не было здесь, что ты, гонимый — одному небу известно, какими фуриями ада, — умчался отсюда как безумный, именно поэтому я закусил удила, именно поэтому я стал заклинять стихии, чтобы они помешали празднеству, ибо праздник этот терзал мою грудь, потому что ты, а ведь ты-то и был, собственно, героем спектакля, и ты отсутствовал; о, это был праздник, который сперва влачился тягостно и утомительно, затем, однако же, не принес влюбленным ничего, кроме бесчисленных мук, ужасающих сновидений — боли — ужаса! — Узнай же теперь, Иоганнес, что я заглянул в самую глубину твоей души и постиг опасную — нет, грозную тайну, которая в ней таится, бушующий вулкан, в любое мгновение способный исторгнуть губительное пламя, беспощадно поглощающее все вокруг. Затаеннейшие муки должны были ожить в тебе, и фурии, как бы пробудившиеся ото сна, должны были с удвоенной силой терзать твою грудь. Как человеку умирающему, истаяющему, чахнутому — те лекарства, которые вырваны из пасти самого Орка, — ибо сильнейших пароксизмов, вызываемых этими снадобьями, отнюдь не должен страшиться мудрый врач, — именно эти лекарства должны были принести тебе гибель или исцеление! Да будет тебе известно, Иоганнес, что тезоименитство княгини совпадает с именинами Юлии, ведь Юлия, так же как и ее повелительница, наречена Марией!

— Ах, — вскричал Крейслер, он вскочил, глаза его пылали гневным огнем. — Ах! Маэстро! Разве тебе дано право затеять со мной столь дерзкую и издевательскую игру? Ужели ты — сам рок, способный проникнуть в заповедные глубины моей души?

— О безрассудный, опрометчивый дикарь, — спокойно возразил маэстро Абрагам, — когда же наконец опустошительный пожар, бушующий в твоей груди, превратится в чистейшее пламя, питаемое глубочайшим чувством прекрасного, истинным пониманием того возвышенного и чудесного, что живет в твоей груди! Ты требовал от меня опи-